

рассказы о советских людях



Лев Довыдычев

Старик и его самая большая любовь



РАССКАЗЫ О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ

Лев Давыдычев

**СТАРИК
И ЕГО САМАЯ
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ**

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1965

Автор цикла рассказов «Старик и его самая большая любовь» Лев Иванович Давыдычев родился в 1927 году в Соликамске Пермской области в семье служащего. Окончил Пермский нефтяной техникум, работал на Краснокамском нефтяном промысле, затем был занят журналистской деятельностью — в редакциях пермских газет, в Пермском книжном издательстве. В 1952 году окончил историко-филологический факультет Пермского университета.

Писать и печататься начал с 1949 года. В 1952 году в Перми вышла первая книга — сборник сказок «Волшебник дачного поселка». В Перми и Москве опубликован ряд книг: повести «Горячие сердца», «Трудная любовь», сборники рассказов «Почему плакала девочка», «Гул дальних поездов»; книги для детей: несколько сборников рассказов и сказок, повести «Жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника», «Лёлишна из третьего подъезда»; несколько пьес.

Л. И. Давыдычев член КПСС с 1957 года. С 1956 года — член Союза писателей. Сейчас он — ответственный секретарь Пермского отделения Союза писателей РСФСР.

*Общественная
редколлегия серии
«Рассказы о совет-
ских людях»:*

*В. П. Астафьев
писатель, Л. И. Да-
выдычев — писа-
тель, Р. В. Коми-
на — заведующая
кафедрой литера-
туры Пермского
университета,
С. Я. Фрадкина —
доцент кафедры
литературы Перм-
ского университе-
та, В. А. Чернен-
ко — писатель.*



СТАРИК И ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Алексею Решетову

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков, — совсем невесело проговорил старик, наливая в рюмку коньяку, а в чашку — холодного кофе. — Все в жизни надо по возможности делать наоборот, — грустно сострил он, по рассеянности выпив кофе и запив коньяком. — Не мешайте, мадемуазель, — хмуро сказал он громкой черной мухе, а бесшумной белой бабочке он сказал: — Я вас приветствую, мадам.

И хотя на самом деле муху следовало бы назвать мадам, а бабочку — мадемуазель, старик, ссылаясь на свой возраст, считал для себя необязательным вдаваться в такие несущественные подробности. Да и просто ему было обидно, что муха хозяйничала на столе, а бабочка брезгливо пролетела мимо.

— Нельзя курить на голодный желудок, — мрачно сказал он, — это очень вредно, — и раскурил трубку, лениво успокаивая себя тем, что если дымил всю ночь, то вроде бы даже обязан встретить восход солнца глубочайшей затяжкой.

...Эх, он ведь был стар, как дом, в котором он жил.

А дом за свою долгую жизнь высох, как старик, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты. И когда ночью, в тишине, налетал ветер, дом наполнялся звуками, которые воображение старика легко соединяло в любые мелодии — от нежных до тревожных. Днем же никаких мелодий не получалось, дом поскрипывал, повизгивал, побряхтывал самым обыкновенным образом.

Вокруг стоял вековой бор. Сосны неумолчно шумели — глухо роптали кроны, коротко постанывали стволы. Гигантские корни, будто скрюченные ревматизмом пальцы, в непрестанном напряжении держали крутой песчаный берег.

Противоположный берег был пологим, и в безлунные ночи представлялось, что Кама разлилась до бесконечности...

Неподалеку существовала танцплощадка — хилое деревянное сооружение. Оттуда ветер приносил обрывки музыки: духовой оркестр старательно выдувал чистые старинные вальсы попеременно с подпрыгивающими, разорванными ритмами.

Старик сердился на танцплощадку — она мешала вслушиваться в музыку бора, в его нескончаемую песнь...

Длинными для него ночами старик внимал бору и думал.

Он страдал бессонницей и воспринимал ее уже не как болезнь, а как давнишнего врага, коварного и беспощадного. Ведь самый опасный враг тот, кого когда-то, считая другом, близко подпустил к себе, который знает все твои уязвимые места.

Когда-то — тогда он еще не был стариком — бессонница была ему другом, он звал ее на помощь, и она помогала ему работать.

И, конечно же, он и не заметил, как из друга она стала врагом.

Старик не сдавался ей, но и победить не мог. У них была многолетняя ничья. Ноль — ноль.

Засыпал старик под утро, просыпался через несколько часов, наугад капал в стакан из какого-нибудь пузырька, неестественно бодро крякал и внушал себе, что абсолютно здоров.

И правда: днем он обычно забывал о недомоганиях, но панически боялся наступления вечера, уже заранее готовясь к изнурительному выжиданию сна.

Хотел он этого или не хотел, а вечерами старик начинал подводить итоги прожитого дня, — вот и не спалось: опять казалось, мало сделал, опять не успел...

Бессонница выматывала еще и тем, что вынуждала вспоминать — не особенно приятное занятие, когда она не признак молодых нерастраченных сил, а следствие усталости. Да к тому же иногда по сердцу тупо бороздило ощущение тщетности... А о чем, собственно, жалеть? Всю жизнь у него была любимая работа. Сначала он учился строить города, потом строил города, потом учил строить города... Его не будет на земле, а они останутся — и города, и его ученики, а потом — города учеников, потом — ученики учеников...

Ночью, без сна, человек откровенен сам с собой до конца. Размышляя, он как бы снимает с жизни все условности, называет вещи своими именами, ум немного уступает сердцу, и многое становится ясным. Поражаешься простоте и мудрости пришедших в голову решений. Но ближе к рассвету они кажутся в лучшем случае наивными и снова — тревожно...

А тут еще о чем-то рокошет бор... И даже старый дом, если вслушаться, о чем-то напоминает своими песнями...

«Я совсем, совсем старею, — думал старик, — жалко».

Нет, не старость сама по себе пугала его. Он не воспринимал ее, как нечто, обязательно связанное только с нездоровьем, угасанием сил и невозможностью ничего исправить. Наоборот, он предчувствовал, что иногда именно в старости приходит награда за то, что не успел получить в молодости.

Да и что такое старость?

Если ее понимать лишь как вынужденную необходимость коротать оставшиеся дни и тщетно пытаться любой ценой не выбыть из строя, тогда старость — серьезное наказание.

Он верил в другую старость. Пусть она будет телесным недомоганием, но зато принесет с собой ясность ума и чувств, беспристрастную оценку пройденных дорог, и — учтя победы и поражения — он еще сделает бросок вперед. И кто знает, может быть, вся его жизнь и окажется подготовкой к этому броску?

«Ты хитрюга, — говорил он сам себе. — Ты уже практически старик, так что брось подобру-поздорову теоретические исследования на тему о старости».

И как же случилось, что он утром вместо капель выпил глоток коньяку, покурил на голодный желудок и — еще несколько глотков?

Старик усмехнулся: все понятно. Так случилось потому, что вчера он встретил свою самую большую любовь, с которой не виделся черт его знает сколько лет.

Увидев ее, старик воскликнул:

— Ты! — и небрежно пожал ей руку. — Ты можешь не попадаться мне на глаза?

— Изменись хоть немного! — смеясь, воскликнула она. — Нельзя же всю жизнь быть одинаковым. Просто удивительно, как я ухитряюсь любить человека с таким отвратительным характером.

— Я могу уйти, — гордо проговорил старик.

— Можешь, — весело согласилась она, — потому что знаешь: я побегу за тобой, как всегда — я...

— Скажи! — оборвал старик и больно схватил ее за руку. — Ты действительно любила меня? Да?

— Глупый, — она с сожалением вздохнула и отвернулась. — Ни разу в жизни я не произносила слово «любить» в прошедшем времени.

— Ну, это ты врешь, — с надеждой выговорил старик. — Так не бывает.

— Ты прекрасно знаешь, что я никогда не лгала тебе. А ты никогда не хотел верить мне.

Старик поперхнулся от возмущения и обиды, но его самая большая любовь сказала:

— Когда ты неправ, тебя так и тянет со мной поссориться. Но это удалось тебе только раз.

— Ты стала болтливой, — проворчал старик.

— Конечно. Раньше у меня были зоркие глаза, чтобы глядеть на тебя. Были сильные руки, чтобы обнимать тебя. Сильные ноги, чтобы спешить к тебе...

— Надеюсь, ты не будешь продолжать этот перечень частей тела? — грубо спросил старик, потому что сейчас ему было необходимо расплакаться.

— Я и до сих пор думаю, как бы я прожила жизнь, если бы не встретила тебя.

— Да хватит, — жалобно попросил старик, шмыгнув носом. — Не смей меня.

— Если бы я не встретила тебя, — продолжала она, — до чего же тускло я прожила бы! Даже подумать страшно.

— Врешь, так не бывает! — и старик вцепился зубами в трубку.

— Как ты изводил меня! — восторженно воскликнула его самая большая любовь. — Сколько я слез выплакала из-за тебя!

— Сто ведер. Эмалированных.

— Не меньше.

Она стояла перед ним, маленькая, высохшая, в больших круглых очках, в каких-то детских тапочках. Старик сказал с невольным вздохом:

— Кто бы сейчас поверил, что когда-то ты... — он опять погрыз мундштук.

— Ты веришь, и мне этого достаточно.

Старик задумчиво покачал головой. Сгорбившись, он смотрел на свою самую большую любовь сверху вниз, долго смотрел, спросил:

— Значит, ни о чем не жалеешь?

— Не знаю. Скорее всего, нет.

«А я? — думал старик, бродя ночью по берегу. — А я жалею?»

Ноги словно сами собой обходили в темноте узлы корней, перешагивали через вросшие в песок пароходные цепи.

Река всегда успокаивала его. Если он приходил к ней растерянный или отчаявшийся, то смотрел на воду до тех пор, пока поток чувств и мыслей не становился плавным, как течение реки.

И даже зимой она оставалась для старика живым существом, страсти которого скрыты, но ждут времени, чтобы прорваться.

Но вчера она оказалась — впервые — бессильной. После встречи со своей самой большой любовью старик не мог успокоиться.

Он вернулся домой, сел на балкончике.

У него было такое состояние — то ли он что-то потерял, то ли вот-вот найдет что-то.

Давно смолкла танцплощадка. Он слушал песнь бора. Монотонная, похожая на морской прибой, она напоминала о чем-то вечном...

Стало прохладно. Старик шагнул в комнату, сел и зажег настольную лампу, и увидел свою тень на стене.

«Старики часто бывают похожи на сердито нахохлившихся и задумавшихся птиц, — пришло ему в голову. — Птица — символ свободы, молодости, устремленности вверх, в беспредельность, в недостигаемость и — старость? — Он пожал плечами, а его тень как бы пошевелила сложенными крыльями. — Причем птицы чаще гибнут, чем стареют... И все-таки старики часто бывают похожи на птиц, — упрямо думал он, — на птиц! Усталых, не способных к полету, но ведь летали когда-то? Иначе откуда быть сходству?»

Старик встал и раскрыл окно, чтобы лучше слышать бор.

Комната была большой, но столь нелепо загромождена вещами, что свободного пространства почти не осталось. Радиоприемник на низкой подставке оказался почему-то на самой середине комнаты, кровать почему-то далеко отодвинута от стены. Книжные полки наклонились и грозили рухнуть.

Сюда старик переехал лет десять назад, когда захотелось тишины, и как в суматохе переезда расставили вещи, так они и стояли до сих пор.

На столе лежала рукопись его последней книги. Старик был уверен, что успеет ее закончить и она получится именно такой, какой он мечтает ее увидеть. В ней он расскажет все, что узнал за свою жизнь о науке строить города. Может быть, ради этой книги он и жил, а все остальное — так, сопутствовало.

Жил он один.

Одиночества он не боялся, да и сюда, в пригород, друзья навещали куда чаще, чем раньше в городскую квартиру. Они приезжали неожиданно, возбужденные недолгой свободой от жен и внучат, шумные, весе-

лые: доставали бутылки с вином и скляночки с валидолом, рассаживались кто где и начинали разговоры.

Случалось, что и пели.

А под конец почти всегда ссорились: видимо, молодели, вырвавшись из круга привычных, но старящих забот, горячились...

А вчера старики расхвастались. У них, оказывается, у каждого была в жизни большая любовь, да такая, что — давайте-ка выпьем!

Эх... были когда-то и мы этими самыми... как их?

У каждого... и большая... Ах, какие это были любви! Беззаветные, самоотверженные, добрые, готовые на любую жертву... И если не выскакивала на дряблые щеки слеза, то лишь потому, что есть еще порох в пороховницах!

Ах, какие они были, эти любви...

Старики пели с молодой удалью и отчаянием, забросав галстуки и пиджаки по всей комнате, стиснув друг друга за плечи... хрустели под ногами запонки... и появившись здесь нынешние девушки, они бы погоревали, что родились поздно, что настоящие-то парни—вот они...

Тут старик и придумал историю о своей самой большой любви и о недавней встрече с ней. Сочинял он с такой верой, убедительностью и потребностью, с какой зовут на помощь в трудные минуты жизни.

Начав сочинять, он еще сдерживался, чтобы рассказ его выглядел наподобие тех, которые он слышал от друзей, но увлекся и...

И она сказала, когда уже собрались прощаться:

— Напиши мне хоть одно письмо. Несколько строчек, и я буду носить их у сердца.

— У старого сердца, — проворчал он. — Ты стара для лирики. Тем более, я. И вообще...

— Ты просто не можешь простить себе своей главной

ошибки, — мягко перебила она. — Злишься, что слишком поздно понял, что одна я любила тебя по-настоящему.

— Я слишком поздно понял! — воскликнул старик, и трубка выпала на землю. Он, кряхтя, нагнулся за ней, вытер полый пиджака и закусил мундштук. — А ты не могла подождать? — поневоле сквозь зубы спросил он. — Ты не могла не выскакивать замуж, сломя голову?

— Я женщина, — тихо и виновато объяснила она, — представительница так называемого слабого пола. А мы прощаем мужчинам все, кроме того, когда они не считают нас женщинами.

...Сочиняя это, старик боялся, что ему не поверят. Но случилось нечто более неприятное: ему поверили. И тогда ему стало стыдно. Но останавливаться было уже нельзя, да он и не мог, и — продолжал.

— Ты знаешь, — сказала она, — иногда судьбу решают десятки лет, иногда — годы, а иногда, особенно у женщин, и мгновения. Ты не уловил мгновения, которое решило твою и мою судьбу. И я знаю, почему ты поступил так. Мужчины настороженно и недоверчиво относятся к тому, что их сильно любят. Боятся. Потому что встреча с такой любовью требует, чтобы человек стал лучше. И вот ей, этой любви, назначают испытание за испытанием: она ведь все должна выдержать, раз она сильная. А пока мы испытываем, глядишь, она и согнетса.

— Здорово ты научилась философствовать, — как можно насмешливее постарался сказать старик. — Сильная любовь, — почти продекламировал он, — зависит от мгновения... Так?

— Всего-навсего. Сколько я прощала тебе, помнишь? А ты придумывал и придумывал новые испытания. — Она посмотрела на него с сожалением. — Ты боялся моей любви, потому что она была во много раз сильнее

твоей. Тебе было стыдно, что ты не можешь полюбить, как я.

— Неправда, — попросил старик.

— Правда, — ласково возразила она. — Ты долго боролся сам с собой, самому себе доказывая, что ты — конечно, счастье для меня, а вот я для тебя... Хоть бы оттолкнул меня, что ли! — Она даже прикоснулась к его руке, словно все это происходило не много лет назад, а сейчас. — Нет, не оттолкнул. И не звал. Я всегда приходила сама. И вдруг я устала, — виновато призналась она, но в голосе проскользнули нотки горького сожаления. — Я бы все выдержала, но... устала. Вдруг. На какое-то маленькое мгновение мне потребовалось хоть одно доказательство твоей любви, чтобы передохнуть, набраться сил, и именно в это маленькое мгновение... — она закусила губу. — Ты и был занят вышеупомянутой борьбой. И я ушла. Сразу. И навсегда.

— Жалеешь? — только и мог спросить старик.

— Я не хотела этого, — не слыша его, продолжала она, — но отомстила тебе. Отомстила, — устало повторила она. — Тебе казалось, что ты легко забыл меня, а пронес меня через всю свою жизнь. Забытая, я владела тобой, с кем бы ты ни был. И они, с кем ты бывал, чувствовали, что я рядом и ты не весь принадлежишь им. Тебе казалось, что ты сам уходишь от женщины, потому что разлюбил ее, а ты никогда и не любил ее, а это я уводила тебя. Я не разрешила тебе никого полюбить так, как я люблю тебя...

— Ладно, -- одними губами выговорил старик, — пусть... Но... неужели у тебя не появлялось... как это?.. желания напомнить о себе?

— А зачем? Стоило мне вернуться к тебе, и все началось бы сначала. Но я боялась не этого. Дело в том, что я, которая ушла от тебя, я ушла вообще, меня боль-

ше не существовало. Была уже другая я. Иногда я даже завидовала самой себе: бывают счастливые люди, которые умеют любить. И как! Мне это счастье выпало один раз в жизни...

...Старик замолчал.

Молчали старики.

— Дурак, — сказал один из них, самый старый, — вопиющий дурак.

Никто ему не возразил.

Каждый взял стакан и выпил за здоровье своей самой большой любви, потому что каждый перед ней был хоть немного да виноват.

И в этот вечер старики впервые долго сидели молча, слушали песнь бора, морщились от звуков танцплощадки и ожесточенно дымили, даже те, кто давно бросил курить.

— Дурак, — повторил самый старый старик.

А когда ветер перемешал песнь бора со звуками танцплощадки, засобирались домой.

Старик проводил их до пристани, помахал шляпой, долго стоял, словно что-то потерявший, а потом бродил по берегу.

Плохо было старику.

До того плохо, что даже река не утешила его.

Для чего он придумал ту, которой не было?

Он тяжело поднялся по скрипучей лестнице к себе на второй этаж, долго сидел на балкончике, потом ушел в комнату.

Тревожно и мудро пел бор. И старый дом, как бы подхватывая эту песнь, был наполнен грустными короткими мелодиями. Ведь за свою долгую жизнь он высох, и каждая дощечка в нем, каждая половица, каждое соприкосновение бревен, каждый шарнир превратились в немудреные музыкальные инструменты...

Старик сидел, забыв о бессоннице.

То есть как это — не было большой любви?

Была когда-то, но — когда?

Позвольте, позвольте... Жену он любил, конечно, это он точно помнит. Жили как люди живут, только вот детей не было. Восемнадцать лет длилась эта история. И восемнадцать лет жена упрекала его в том, что он ее плохо любит. Каждым взглядом своим, каждой ноткой голоса упрекала... И он всегда чувствовал себя виноватым перед ней. Когда же она умерла, он лишний раз понял, что все-таки любил ее — горькой, какой-то словно согнувшейся в ожидании удара любовью...

Были еще женщины, поначалу даже хорошие, иногда добрые, но потом они упрекали, упрекали, упрекали... и в душе возникала пустота.

И, слава богу, со временем он получил возможность обходиться без них.

...Может быть, самая большая любовь — это работа?

Ему давно хотелось лечь, но он устало и больно сидел, и курил.

Таяла ночь.

Из-за Камы едва-едва светало. Вернее, еще не светало, но у всего живого рождалось предчувствие близкого рассвета.

Бор успокоился, и песнь его была просто грустной.

Дом замолк. Ведь он был стар, как старик, и ему требовался отдых.

А старик лег на подоконник, чтобы быть поближе к песне сосен.

...Нет у него в адрес своей судьбы особых критических замечаний, хотя она могла быть и лучше.

Могла быть и хуже. Не в этом дело.

Просто — надо выдержать свою судьбу и ничего у нее не просить. Непоправима только смерть.

...Ночь растаяла.

Вокруг уже начинали петь птицы—понедолгу, пробуя голос. Ночная песнь бора сменилась утренней — светлой, наполненной ожиданием радости и покоя.

«Я честно прожил свою жизнь, — подумал старик, но от этой мысли ему не стало радостно. — Я был счастлив своим трудом. — Он вздрогнул от возмущения. — Ты еще похвастайся тем, что никого не предал, не убивал, не воровал! Был ли ты счастлив лично? Дал ли кому-нибудь личное счастье? Хоть одной женщине? Хоть одному ребенку?»

Детей у него не было. Женщины были.

...Старый дом отдохнул, начал повизгивать, поскрипывать, покряхтывать.

Солнце стало теплым.

Старик поздоровался с мухой и бабочкой, выпил глоток кофе, запил его коньяком и — раскурил еще теплую трубку.

И тут он обрадовался. Ведь была в его жизни большая любовь! Была! Он вспомнил ее сразу, в один миг, как будто она появилась рядом.

— Не пейте с утра спиртных и иных возбуждающих сердечную и прочие деятельности напитков! — весело и громко повторил старик. И выпил еще глоток.

Охо-хо... Это была самая большая и самая первая его любовь — глупая, как ему тогда показалось, девчонка с острыми локтями, в застиранном платице, робкая на людях и отчаянная, когда оставалась с ним вдвоем. Никогда ничего она не просила, всегда была за все благодарна, богатая своей любовью. Она была его первой, и никто не сумел с ней соперничать. Все, что он узнал о женщине, о любовном счастье, он узнал от нее, и ни одна не смогла этого повторить.

А он не понял.

И она ушла.

Или — он ушел?

И долго казалось: забыл.

Забыл по-молодому, без сожаления, тем более, без укоров совести.

И пронес ее через всю жизнь. Она была в такой глубине души, что чувствовалась оттуда как далекое-далекое эхо неизвестного голоса.

Забытая, она владела им. Она не простила ему, что он не понял ее. Она как бы растворилась в нем.

Ему казалось, что он уходит от женщины, потому что разлюбил ее, а он и не любил ее, а это она уводила его, она, его самая первая, самая большая и последняя любовь.

Не разрешила она ему никого полюбить так, как она его любила.

И все-таки она — была.

...Старик прошелся по комнате, и остатки запонок проскрипели у него под ногами.

Он куда-то торопился, но не мог понять, куда?

А он торопился доказать ей, что не зря они встретились. Он докажет ей это.

Старик сел за стол работать. Ведь он был стар, как дом, в котором он жил, и ему, действительно, надо было торопиться.



В ЗАТОНЕ

Мутная, с желтоватым оттен-

ком, по характеру еще весенняя, Кама играла нашей лодчонкой, которая вздрагивала, казалось, даже от движения век.

А в затоне было тихо. Вода здесь неподвижна.

По всему берегу разбросаны невысокие деревянные постройки — мастерские и склады. Тут и там остовы катеров и пароходов, кучи железного хлама, причудливые узоры арматуры.

Печальным памятником своей былой красоте высятся громада знаменитой «Жемчужины». Скоро даже речники забудут, что ходили когда-то по Каме диковинные пароходы, у которых колеса были сзади. «Жемчужина» — последний из них. Отплавался. Он покоится на берегу — без колес, без трубы, обшивка местами сорвана, виден ржавый скелет.

И все же есть в нем что-то гордое, независимое, чем-то выделяется он среди других.

— Рухлядь, — небрежно бросает Пашка, десятилетний сын капитана буксира «Генерал Карбышев».

Над высоким, кручей поднявшимся от воды берегом, за кромкой соснового бора ползут темно-сизые тучи с белыми полосами — предвестниками града.

С каждой минутой холодеет. Ветер бежит по-над водой. Начинает темнеть, хотя за тучами небо голубо. Вдруг ветер спал, будто мгновенно спрятался в реку, зарыбил ее. А по воде сверху ударил другой ветер — плотный и тяжелый.

Мы причалили.

— Пошли таяться, — сказал Пашка и заскакал по бревнам к берегу. Прыгал он как кузнечик — высоко, с места, без разбега.

Я, поскальзываясь, торопился за ним. Со всех сторон одновременно ударил гром, со всех сторон сверкнули молнии. В спину нас толкнул ветер.

Мы подбежали к дощатому домику. Не успел я прикрыть дверь, как она сама ударила меня по пяткам. Глухо звякнули стекла.

В небольшой, конторского типа комнатке с продолговатым решетчатым окном было темно.

Дождь хлестал вместе с градом.

— В двадцать седьмом мой мужик утонул, — услышал я глубокий певучий голос, — вот до чего дурной человек был, неосознательный. Даже и помереть-то не мог, а потонул.

Вглядевшись, я увидел высокую могучую старуху. Она стояла у окна, сложив руки на груди.

К ней подскочил старик в мешковатой брезентовой тужурке, возмущенно проговорил:

— Знаем, знаем! Зазнобила ведь ты его... э-эх! Так что, не притворяйся.

— Зазнобила, — равнодушно согласилась старуха, — было дело. Но мужик он шибко дурной был. Не лучше тебя. Такой же...

— Ты, Карповна, ровно судья-прокурор! — старик топнул. — Чего всех учишь? А сама? Жизнь у тебя перевернутая, неладная...

— Хватит, Вавилыч, — остановил его неслышно подошедший мужчина в клетчатой рубашке.

— Тебя, Суслов, не спрашивают! — крикнул старик. — У нас с ней давнишнее. Должен я ее переспорить!

Гром со звоном и скрежетом прокатился по крыше. Вслед на нее обрушился новый порыв ветра, град, ливень. Послышался сухой треск. Вспыхнул сноп искр.

— Работы-то электрикам. — Карповна вздохнула. — Сколь проводов-то пооборвет... Позапрошлый год меня в грозу столбом чуть не изувечило.

— Это судьба тебя наказывает, — сквозь зубы процедил Вавилыч. — Больно умной себя показываешь.

Пашка потянул меня за рукав, шепнул:

— Они всегда так.

Большая кепка то и дело закрывала ему лоб, он отбрасывал ее на затылок привычным ударом указательного пальца по козырьку.

В углу сидел парень, одетый в тельняшку с отрезанными выше локтей рукавами. Глаза его настороженно блеснули.

— Прошное лето я к сыну ездил, — с гордостью начал рассказывать Вавилыч. — В Кунгур. Встретили меня... э-эх! Костюм подарили, портсигар с узорами, валенки чесаные. А у тебя...

Суслов позвал:

— Подь сюда, Вавилыч.

— А чего это я к тебе пойду? — моментально рассвирепел старик. — Подь сюда! Подь сюда! — передразнил он и тут же подошел. — Чего надо?

Что ему говорил Суслов, я не слышал.

— В кино я вчера была, — тихо сказала Карповна, — и уж поплакала вдоволь, досыта. Уж такую душевную картину показывали. И одного я не поняла: за что же хорошего-то паренька идиотом прозвали?

Вырвавшись из рук Суслова, Вавилыч подскочил к ней и торопливо выкрикнул:

— И не поймешь!

Парень в тельняшке рывком встал, подошел к старику и, размахивая руками, замычал.

— Глухонемой, — шепнул мне Пашка.

Старуха сказала парню, старательно выговаривая каждое слово:

— Сиди, Витюша, сиди.

Погрозив Вавилычу кулаком, Витюша ушел на свое место. Карповна спросила:

— Кипяточку, люди хорошие, не желаете?

И хотя все промолчали, она вытащила из печки огромный закопченный чайник, достала с полок посуду, консервную банку с мелко наколотым сахаром.

Вавилыч рассказывал мне на ухо:

— Муж-от ее, Евдоким, к Катьке Сухоруковой ходил. И родила она ему этого вот Витюшку. Э-эх, пересудов-то, перетолков-то было! — восхищенно воскликнул он. — А верь не верь, Евдоким выпьет пол-литра для согрева и в конце мая Каму за милую душу переплывал. Бултых и айда!.. Ну, единова бултых, да и не выплыл. Поймали его через три дни. А Катька, Сухорукова-то, она, нынешнему если, стилига была. Фуры-муры. Она орать: обманул, дескать, меня Евдоким! Сам потонул, а мне, молодой, интересной, с Витюшкой мучаться!.. Тогда Карповна Витюшку к себе затребовала, сказала: «Мой грех, мне и ответ держать». Люди спрашивали: «Какой же это твой грех?» А Карповна: «Муж-то мой был. Вот я за него и должна отвечать. За все его мерсприятия». Любила она его, — удивленно шептал Вавилыч, — непонятно любила.

— Все выболтал? — не глядя на него, спросила Карповна спокойно. — Теперь про себя расскажи, клоун.

— А что? — боязливо и вместе с тем вызывающе вскрикнул старик. — Что? Дело предлагал. Послушалась бы тогда меня, жила бы сейчас как люди живут.

— Живу я хорошо, — убежденно проговорила Карповна, — вроде бы отдыхаю. Сторожиха — кака это работа? Да и сна у меня все одно нету... А звал он меня тогда, — Карповна грустно усмехнулась, — бежать с ним в Сарапул... Пейте, люди добрые. За угощение извиняйте: чем богаты... Все горе, како мне выпало, сама несла. Никого своим горем не задела.

— Вот и нету у тебя счастья! — голос Вавилыча жалобно дрогнул. — Нету ведь!

За окном полыхнуло. В бледном свете молнии я увидел лицо Карповны. Крупное, с большим, нетронутым морщинами лбом, оно дышало ласковостью и в то же время суровостью.

— Ох, грозы, грозы... — выдохнула она. — Сколь я их насмотрелась и уж не боюсь... Как у вас дома, Пашок?

— По-старому, — ответил Пашка.

— Живут, хлеб жуют, — насмешливо добавил Вавилыч. — Капитанское дело известное. Недовыполнили — выпить надо, выполнили — полагается выпить, перевыполнили — грех не выпить. Зимой пьют, чтоб не рассохнуться.

— А ты капитаном не был, так не знаешь, — равнодушно сказал Пашка. — Они сейчас, может, у моста с плотом воюют. Ты хоть раз плот через мост в грозу протаскивал?

— Отец у тебя, Пашок, сознательный человек, — задумчиво произнесла Карповна. — А насчет выпить... я тут с ним толковала, когда он в затоне ремонтировался... Нога у Танюшки больше не болит?

— Вылечили, — Пашка улыбнулся, — вчера к продаму одна убежала.

— Детей производить еще не разучились, — озабоченно проговорил Вавилыч, — а вот воспитывать... это вопрос ребром. Уж такие фрукты растут! Парни еще ничего, а девки... — Он сплюнул. — И не смотрел бы. Прости меня грешного, всяко место наружу..

— А тебе что? — перебила Карповна. — Всем-то ты недоволен, хоть и портсигар имеешь с узорами. У меня вот нету портсигара, а... — Она улыбнулась почти виновато. — И на молодых я не сержусь. У них свои заботы... Бабья доля несветлая, вдовья доля несладкая, старушья доля невеселая, а жить можно. Иной раз, правда, тянет богу помолиться, да не верю я богу-то.

— Ой, врешь! — пронзительно крикнул Вавилыч. — В ту субботу в церкви тебя видели.

— Была по старой памяти. И свечку купила. Да никому не поставила. Некому. Смотрю на икону и вижу: человек. А его, вишь, святым сделали, — словно сама удивляясь своим мыслям, говорила Карповна. — Был, значит, человек, мучился, работал, выпивал, может, а тут — икона, свечки... Я так считаю, — громко продолжала она, — если за муки и праведность к лику святых причислять, то много нас, святых, по земле еще в живых ходит. Вот и не верю я господу.

Гром бухнул у самой стены. Вавилыч мелко перекрестился. Карповна рассмеялась.

— И ты ведь, старый, не веришь. А деньги на свечки держишь. Ну, убежала бы я с тобой в Сарапул. А Дарья твоя? Она бы мучилась. Так уж лучше я... Не подогреть чайничек?

Витюша напильником точил лопату, изредка взглядывая на Вавилыча, толстенькое лицо которого светлым пятном выделялось на темном фоне стены. Суслов смотрел в окно. Карповна мыла посуду.

— Да-а, — многозначительно протянул Вавилыч, — дела как сажа бела...

Суслов резко обернулся, и сквозь шум затихающей грозы Вавилыч визгливым голосом крикнул:

— Чужой-то радостью сыт не будешь!

Никто ему не ответил.

За окном внезапно стихло.

— Всегда так, — удивленно сказала Карповна, — пройдет и будто бы не было. Айда порядок наводить.

Мы вышли на крыльцо. Воздух был пронзительно свеж. Под жаркими лучами солнца земля сверкала яркими красками. Омытые бревна лоснились. Пели невидимые птицы.

Со стороны Камы прилетел пароходный гудок.

— По-ря-док, — старательно шевеля губами, выговорил Витюша.



ДЕД

Говорили, что он умер оттого, что ушел на пенсию. И хотя это невозможно ни доказать, ни опровергнуть, — кровоизлияние в мозг могло произойти и раньше и позже, — я согласен. Понимаете, есть что-то очень жестокое в том, что человеку, отдавшему всю жизнь работе, приходится бросать ее сразу.

Помню удивленное, виноватое, растерянное лицо Ленькиного деда, когда он утром, тяжело и громко вздыхая, слонялся по квартире — в первый день пенсии. И всем нам было почему-то неловко, неудобно перед ним.

За несколько дней он постарел, еще больше сгорбился. Не знаю, что бы он делал, если бы не внук.

Отношения Леньки и деда можно было определить только одним словом — дружба. В ней не было приливов и отливов, взлетов и падений — ровное, неизменное чувство.

Пятилетний внук и пятидесятивосьмилетний дед отлично понимали друг друга. Объяснялось это, видимо, еще и тем, что нам, занятым повседневными делами и каждодневными обязанностями, некогда было заглядывать в свои и чужие души. Ведь жизнь делает человека сначала черствым: разрушая юношеские иллюзии, она

дает взамен умение ограничивать себя в желаниях. Но с годами человек, нисколько не отказывая жизни в виртуозной способности кромсать иллюзии, приходит к мысли, что надо быть таким, каким ты и явился в этот мир, — наивным, простодушным, сердечным и все открывающим заново.

Вот на этом старость и детство сходятся в отличие от молодости и зрелости, у которых почти нет точек соприкосновения. Старик умом, а младенец сердцем чувствуют, что жизнь прекрасна сама по себе, если люди не вредят друг другу, и стоит пережить многое, чтобы уметь радоваться тому, что иные считают пустяками.

О, как они — дед и внук — умели жить! Как они умели из самых обыкновенных, зауряднейших дел делать радостные события. Даже из трамвайной поездки они приносили столько впечатлений, что разговоров и переживаний хватало надолго.

Деду не хотелось, чтобы люди замечали его старость, и он был благодарен внуку, когда тот заставлял его играть в футбол. Леньке хотелось быть взрослым, и дед, понимая и уважая его желание, покупал ему в трамвае билет и вместе с ним радовался появлению контролера.

Жили мы тогда рядом с кладбищем, и похоронные процессии были для нас обычным, а для Леньки веселым зрелищем.

Когда старуха из соседнего подъезда радостно спросила:

— А коли помрет дед-то?

Ленька ответил:

— А я бум-бум-бум! — изображая удары медными тарелками.

Старуха долго хихикала, смущенно закрывая лицо рукой.

Потом я получил комнату, и дед почти каждый день через весь город приходил навещать своего друга.

Последний раз он зашел к нам дня за два до смерти, сидел какой-то притихший, часто произносил «да-а», не сводя глаз с внука, и уже у порога сказал:

— Если умру, тульская двустволка и патронташ твои.

...Ночь я почти не спал, думая, какими словами передать сыну тяжелую весть.

Ленька проснулся необычно рано — вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Ты уже не маленький, — проговорил я, — ты должен понимать...

— Дед умер, да? — перебил Ленька.

Я кивнул.

Лицо его оставалось спокойным, задумчивым. Он долго лежал молча, потом спросил:

— Значит, теперь тульская двустволка моя будет?

Я кивнул.

— И патронташ?

Признаюсь, мне стало не по себе. И только значительно позднее я догадался, что мерял ощущения сына с точки зрения взрослого человека. А еще можно спорить, чья точка зрения в таких случаях разумнее и естественнее.

Мы молча прошли через весь город. Лишь у подъезда Ленька сказал:

— Уведи меня отсюда.

Так я и сделал — отвел его к знакомым. Они потом с удивлением рассказывали:

— Играл, бегал, смеялся — будто ничего и не случилось.

Лишь через неделю, вечером, когда об окно ударился ветер, Ленька спросил:

— А носовой платок у него с собой есть?

Утром он отнес на могилу носовой платок, на котором сам вышел зелеными питками верблюда.

У могилы он стоял долго. Лицо его было задумчиво.

Вообще, можно было только догадываться, о чем он думал в эти дни. Да, он играл, бегал, смеялся, но был уже не тот Ленька, что прежде. В чем заключалась перемена, не берусь определить. Но перемена была, и не внешняя, а внутренняя. Скорей всего, что впервые в жизни Ленька испытывал одиночество, причем одну из его самых острых форм, когда чувствуешь себя одиноким не потому, что у тебя нет близких людей, а потому что они-то есть, а одного все-таки нет. И не хватает его!

Может быть, впервые в жизни Ленька ощущал тот непреложный факт, что один человек не может заменить другого, даже если он лучше его.

Временами мне казалось, что Ленька просто не в состоянии понять, что такое — умер. А временами — да простится мне! — я думал, что только он один по-настоящему понимает это.

Ведь мы жалеем умерших, измеряя боль той пустотой, которую они образовали в нашей жизни своим уходом. Гораздо реже мы жалеем умерших из-за того, что они не испытали всех радостей.

Однажды мы пришли навестить бабушку. И вдруг явилась молоденькая, розовощекая девушка штрафовать деда за задержку книг из библиотеки. Девушка, видимо, понятия не имела о смерти — возмущенно доказывала, что можно было найти время и вернуть книги.

Ленька сказал ей:

— Если бы он не умер, он бы сдал книги. Он был очень хороший дедушка.

И девушка больше не спорила. Ушла.

Мы часто вспоминали деда. Неужели обязательно

нужно умереть, чтобы доказать, что ты всем нужен, что без тебя, оказывается, тебя недостает?

Создавалось впечатление — по крайней мере, у меня, — что Ленька таил свою боль, а мы, взрослые, передавали ее друг другу.

Он, можно сказать, любил бывать на кладбище. Как это ни странно, весной здесь было очень хорошо. Тишина, какая-то умиротворенность, зелень и еще что-то... Что? Наверное, то, что все атрибуты смерти не производили никакого впечатления по сравнению, предположим, с радостной голубизной неба. Одна и та же мысль приходила в голову: первое, что вызывает вид смерти, — это жажда жить.

Каждый день Ленька приносил деду подарок — то пластмассового солдатика, то рисунок, то вышивку, то пластилинового космонавта. На другой день, если вещь не исчезала, он уносил ее обратно.

Когда я вспоминал о деде, глаза его становились задумчивыми, немного недетскими, с примесью удивления, но не грусти.

Однажды я пришел на кладбище, чтобы переменить воду в банке с цветами. Подойдя к знакомой оградке, я остановился в изумлении: взявшись руками за железные прутья, Ленька разглядывал фотографию деда.

Я не окликнул сына. Он сам обернулся, сказал:

— Хороший был дедушка. Не понимаю только, зачем он умер? Я буду таким, как он. Буду большой, зарабатываю денег, поставлю ему красивый памятник. Чтобы он на коне сидел, а в руках красное знамя. Да?

Словом, жизнь текла своим чередом.

Тульская двустволка висела на своем месте.

Патронташ — тоже.



НИКИФОРОВ

— **Д**есять лет уплыло, как

Даша померла. Хорошая баба была, а померла. Бросила, значит, меня одного. Скучища без нее, ровно не к чему жить-то...

Поперек Камы шевелится лунная дорожка, и кажется, что светло именно от нее, а не от луны. Сюда, на высокий крутой берег, ползет прохлада, густая и влажная.

Старик негромким простуженным голосом говорит:

— Я без реки жить не могу. Трудно дышу без реки-то. Только на берегу и отхожу, вроде бы лекарство какое принимаю... Даша, еще когда живая была, окунем меня дразнила. Смолоду она красивая была, сильнущая. Купаться, помню, на косу поедем, разденется она у воды, а у меня от красоты ее ноги отнимаются. Хоть бы всю жизнь смотрел... Никифоров тут был один. Еще раньше меня к ней сватался. И всю-то жизнь он про Дашу думал. Как на своем «Ретвизане» мимо идет, вот тут, так гудит. Приветы ей, значит, посылает.

Где-то внизу на тропинке слышались веселые голоса и смех. Старик замолчал. Цигарка вспыхивала ярким синеватым пламеньком.

Когда голоса растаяли в темноте, старик продолжал неторопливо:

— Потом старость приковыляла. А мы еще лучше жили. Ночью если сон страшный увижу, рукой пошевелю — жена рядом, и успокоюся... Денег у нас сроду не было. На что они? Даша больно хорошая была. Только Никифоров этот среди ночи иной раз как вскрикнет. А гудок у «Ретвизана» жалобный был, будто человеческий... Во-о-от... Десять лет я без Даши вытерпел, с каждым годом все больше об ней думаю... Померла, а я больной сделался. Каждая косточка у меня болит, каждый позвонок. Весь больной я, сверху донизу. Раньше, бывало, занеможу, Даша меня в баньку, да как всего веничком исхлещет — и нету хворости...

— А где сейчас Никифоров? — спрашиваю я, но старик, видимо, не слышит и продолжает:

— Годов восемь назад сообразил я жениться. Ага. С горя, значит. Ведь встанешь утром — один, днем — обратно один, ночью — тоже... И нашел я себе тут на рейде молодую. Толстую, веселую. Иду как-то вот здесь по берегу, а мимо «Ретвизан» плот тащит и... ага, гудит. Стыд меня заел... вот как голодный косточку обгладывает, так меня стыд... На пенсию Никифоров ушел и тоже помер. Недавно. Теперь сын у него по Каме плавает... Сегодня капитаном в первый рейс идет. На «Ретвизане», на новом...

Кругом тишина. Но чем больше я вслушиваюсь, тем сильнее убеждаюсь в ее обманчивости. Со всех сторон доносятся звуки и шорохи, и даже сама река не безмолвна, она словно дышит.

Старик молчит, и чтобы продолжить разговор, я спрашиваю:

— А как здоровье у вас? Сердце?

— А ну его, сердце-то. Дурака валяет. То скачет, то

останавливается. К врачам меня направляли, анализы со мной делали. Стыдно сказать, чего я только в больнице не носил, чепуху разную в баночках да бутылочках... Тьфу! Лекарства потом всякие пил. На что?

— Детей у вас не было?

— Трех войне скормили.

Через лунную дорожку прошел катерок, и часть ее некоторое время тянулась за ним.

— Шу-умная река стала, — говорит старик. — Ране, бывало, в дальние-то годы, в день один-два парохода мимо прошлепает, а ныне... и теплоходы тебе, и паротеплоходы, и вообще всякие... Многие ночи у меня без сна. На берегу сижу. А дома если, от каждого гудочка-свисточка просыпаюсь. Все мне охота «Ретвизана» послушать... А Никифоров-то... он тоже плотоводом был... Считай, полжизни у меня под ногами палуба, и на земле-то я вроде бы в гостях...

Видно, что от реки начинает отделяться туман. Тает луна. Исчезает дорожка. Мы долго сидим молча. Я не жалею, что опоздал на трамвайчик и вынужден коротать ночь на берегу.

Река дымит.

— Вот так, значит, — задумчиво произносит старик, — тяжело на реке работать, тревожно... — Он снимает выгоревшую капитанскую фуражку, рукавом проводит по лысине. — Не идет что-то никифоровский сынок... Нет, вон показался.

Старик резко поднимается, суетливо надевает фуражку.

Сверху — расплывчатым пятном с сигнальными огоньками — приближается буксир.

— «Ретвизан»... «Ретвизан»... — шепчет старик, будто зовет.

Все яснее проступают очертания широкобокого судна. Оно дышит трудно, шумно.

Буксир напротив нас. Канат, соединяющий судно с длинным плотом, не виден, но даже отсюда, издали, я чувствую, что он есть. Мне кажется, что я слышу, как он звенит от напряжения.

Пусто на капитанском мостике. Спит молодой Никифоров...

Лицо у старика растерянное, он пытается улыбнуться, шарит сзади руками, как делают, когда нащупывают стул.

И когда старик опустил на скамейку, мощный крик гудка ворвался в утреннюю тишину и, радостный, густой, стал подниматься все выше и выше...

Лев Иванович Давыдычев

Старик и его самая большая любовь

- Редактор С. М. Гицц
- Художник В. П. Петров
- Художественный редактор М. В. Тарасова
- Технический редактор Г. В. Пайдушева
- Корректор Н. Д. Аборкина

Подписано к печати 13/V 1965 г.
Формат бумаги 70×108^{1/32} 0,5 б. л. 1 п. л.
(усл.-прив. 1,37 л.) уч.-изд. 1,241 л.
ЛБ02375 Тираж 15000 экз. Цена 4 коп.

2-я книжная типография управления по печати
Пермь, ул. Коммунистическая, 57. Зак. 841.

4 коп.